

Посвящается Брэнде

ОДИН

Эта история относится к далекому прошлому — настолько далекому, что оба главных героя уже успели умереть — однако их царственные тени и сегодня так же, если не сильнее, властвуют над нами, и львиная доля парадоксальности и трагичности событий пропала бы, разгласи я сейчас их имена. Стало быть, ограничусь единственной буквой для того, кто при жизни, особенно со времен своего затворничества в Барселоне, являлся самым знаменитым из аргентинских писателей. Эта буква может быть только заглавной А, и ни он сам, вполне осознававший свое место в литературной иерархии и ревностно к нему относившийся, ни верные его читатели, число которых и «неугасающий пыл» увеличиваются с каждой годовщиной, не позволили бы мне избрать какую-либо другую. Но какой тогда буквой обозначить не менее прославленного литературного агента, даму, пригrevшую его в Барселоне, — женщину исключительную, блистательно расточительную и дерзкую? Она, эта великая *донна*, разворачивала испанскую литературную панораму,

и писатели обожали ее сильнее, чем своих любовниц, а издатели называли исподтишка, с не менее сильной яростью, «тираном испаноязычной словесности». Я не могу унижить ее какой-либо иной буквой алфавита, поскольку не хочу, чтобы она восстала из гроба, поэтому дам ей звучное имя Нуррия Монклус, которое избрал для нее Хосе Доносо в своем романе «Сад по соседству». И какого бы неба ни удостоилась столь же возлюбленная, сколь и грозная хранительница писателей — а ей ведь нравились *романы с ключом*, — надеюсь, она одобрит прозрачный покров, под которым я выведу ее на этих страницах.

Остается третий персонаж — гораздо моложе, но тоже в своем роде легендарный, хотя и слегка подзабытый. Я знаю, что он еще жив, поскольку не так давно мне удалось встретиться с ним и взять у него интервью, чтобы дополнить историю; во избежание лишних вопросов я воспользуюсь его первым литературным псевдонимом — Мертон. Тем более, что это имя, эту интригующую подпись под его заметками только и знал литературный мир.

Очень рано, едва достигнув двадцати шести лет, Мертон стал блестящим, выдающимся, единственным в своем роде литературным критиком. Когда были опубликованы его первые рецензии, дрожь изумления объяла редакции всех газет и приложений, посвященных культурной жизни, — явился некто, готовый говорить *правду*. Все мы прекрасно знаем: в цивилизованном мире никто не выжи-

вет более десяти дней, если решится всем и всегда говорить только чистую нелицеприятную правду. Что уж говорить про наш яростно дарвинианский литературный мир начала девяностых! Однако не следует понимать так, будто Мертон обрушивался на авторов книг подобно наемным критикам, которые водились тогда во множестве. Он также не вставал в позу — частью презрительную, частью малодушную, — характерную для культурного истеблишмента, скупого на похвалы и не способного изумляться. Новичков эти люди встречают злой иронией и насмешками, тогда как к «священным коровам» относятся с неизменно боязливым почтением. Мертона отличало то, что он всегда говорил цельную нерушимую правду, не обращая внимания на авторство, будто отрешенный судья, выносящий окончательный приговор каждой книге, осуждая ее на жизнь или на смерть, чуждый всему, кроме трепетного голоса защиты, звучавшего с ее страниц.

Разумеется, вначале его статьи — резкие, острые, безапелляционные — вызывали у авторов потрясение и даже страх. Все спрашивали друг у друга на банкетах в честь присуждения премий, на проходивших под звон бокалов вечеринках с коктейлями и на собраниях еще более интимных, где в тесном кругу покуривают травку, кто такой этот таинственный Мертон, а главное, кто у него в друзьях. Рассказывались две истории, и обе казались фантастическими. Согласно одной, Мертон был

сыном диссидента, преследуемого за политические взгляды, и все отрочество, прошедшее под военной диктатурой, просидел под сводами подпольной библиотеки. Как таинственный доктор Б. из «Партии в шахматы», в этой глухой ночи, длившейся семь лет, Мертон волей-неволей прочитал книги со всех полок, чтобы хоть как-то развлечься посреди этого безусловного и обязательного безмолвия. Именно этим объяснялась его богатая до тошноты эрудиция. Согласно другой истории, которая отчасти противоречила первой, Мертон все так же был сыном диссидента, преследуемого за политические взгляды, но жил изгнанником в одной из европейских столиц, успешно выступал на турнирах по теннису среди юниоров, потом стал инструктором, что позволило ему оплатить учебу в одном из британских университетов. Когти критика Мертон отточил, написав монументальный диплом по латиноамериканской литературе, а также новаторскую работу в соавторстве со светилом математической логики: этот титанический труд был посвящен дихотомиям критического дискурса. Склонность к строгим математическим выкладкам объясняла ясность и картезианскую точность рецензий Мертона, они оставляли впечатление с блеском доказанных теорем.

Любопытно, что, насколько оказалось возможным впоследствии воссоздать его жизнь, обе истории содержали много достоверных фактов, если смягчить преувеличения и заменить их всегда бо-

лее прозаической правдой. Отец Мертона действительно был политическим заключенным, а мать, библиотекаря, укрылась в небольшом городке на юге страны, в котором была расположена одна из крупнейших в стране библиотек. Чтобы устроиться на работу, матери Мертона пришлось поменять фамилию, свою и сына. Однако ее не отпускала тревога, что их все же найдут, поэтому она раздобыла медицинскую справку, освобождавшую мальчика от школы, и каждый день сажала его в общем читальном зале. И так, все детство и отрочество он получал образование, полка за полкой, в алфавитном порядке, подобно Самоучке Сартра.

Лет в пятнадцать Мертон восстал против этой дополнительной диктатуры, тайной диктатуры книг, и стал работать смотрителем теннисных кортов в одном университетском клубе. С той же полной молчаливой сосредоточенностью, с какой он годами по шесть часов в день читал книги, Мертон начал отбивать мячи от стены старой ракеткой, которую ему подарил один из членов клуба. Кто-то заметил в нем способности. Кто-то другой выхлопотал стипендию, чтобы он мог брать уроки у клубного тренера. Мертон раскрылся, хотя и поздно, как многообещающий юниор; постепенно поездки на турниры все больше удаляли его от города, где прошло его детство; целый год он даже играл в европейских турнирах. Но в восемнадцать лет, когда настала пора задуматься об университетской карьере, а может, и потому, что мальчишеский бунт угас

в жесткой бескомпромиссной борьбе на множестве кортов, Мертон решил, как овечка в загон, вернуться к книгам и провести следующие пять лет под «прилежными лампами» других библиотек.

С этого момента две истории соединяются. Мертон действительно защитил диплом в одном из британских университетов и сотрудничал со знаменитым логиком Адамом Макдугласом, составляя исчерпывающую классификацию дихотомий в литературной критике. Правда и то, что он оплачивал обучение, работая инструктором по теннису, — Теофил Норт* с южноамериканским акцентом. Более того, вернувшись в Аргентину, не стал добиваться гранта на исследования в области литературы, а устроился тренером в нескольких клубах Буэнос-Айреса — лишь на первое время, пока не начал публиковать рецензии.

Разумеется, тогда всех этих подробностей никто не знал. И пока писатели, потрясенные предельной искренностью его статей, спрашивали друг у друга его настоящее имя и откуда прилетела эта гага avis**, редактор культурного обозрения, где Мертон публиковал свою грозную колонку о недавно вышедших книгах, хранил на лице улыбку сфинкса и не размыкал губ. Очень скоро, в целях самозащиты, книги, которые присылали на рецензию ведущие изда-

* Герой романа Торнтон Уайлдера, который тоже работал инструктором по теннису.

** Редкая птица (*лат.*). — *Здесь и далее примеч. пер.*

тельские дома, начали сопровождаться карточками с отчаянными мольбами: «Пожалуйста, не давайте читать Мертону!» И все же, после первоначального ужаса, наиболее отважные писатели все чаще решались подвергнуться испытанию. Осознавая все риски, они все же не могли противиться неодолимому искушению прибегнуть к оракулу с неведомым лицом, который возгласит наконец то, чего никто другой никогда не скажет: чистую правду о написанной книге, или, по крайней мере, хоть какую-то правду.

Сейчас, спустя годы, это кажется почти невероятным, но в ту эпоху, экзотическую и немного варварскую, критики, считавшиеся опытными, не отказывали себе в том, чтобы писать рецензии на пьесы для театра, представленные их собственными женами, делая вид, будто автор им совершенно не знаком. Ученые дамы возводили на литературные пьедесталы своих любовников или племянников; редакторы культурных обозрений отправляли последний роман писателя X на расправу его злейшему врагу — писателю Z, и критика лавировала между обменом услугами в рамках «общества взаимопомощи» и почти кровавыми разборками, достойными сицилийской мафии. Кто-то даже заметил, и не без оснований, что, если в будущем напишут историю аргентинской критики, туда по необходимости войдет генеалогическое древо любовных историй, дружеских связей, взаимной вражды и семейных уз. В этих зыбучих песках между обменом благодеяниями и сведением счетов взыскательное и тон-

кое искусство оценки литературного произведения превратилось в симулякр, в иллюзию, творившуюся для читателей культурных обзоров, а те и не подозревали, что игра ведется краплеными картами. Вот поэтому, когда пришел человек извне, которого никто не знал и который не знал никого, все вдруг подняли головы.

За отважными первопроходцами последовали другие; колонки Мертон увеличилось в объеме, переключались на первую страницу культурного обзора, заняли ее всю, и попытаться предсказать, что напишет Мертон о том или ином новом романе самых прославленных авторов, стало излюбленным развлечением в литературной среде. Вскоре, как в пари Паскаля (нечто, подобное русской рулетке) страх уступил место надежде, почти несбыточной, однако сулившей огромные барыши — благоприятная рецензия Мертон означала абсолютный успех. Теперь издательские новинки прибывали в редакцию с посланиями противоположного содержания: «Пожалуйста, дайте прочитать это Мертону!» Рецензии Мертон повторялись из уст в уста в мире высокой культуры и даже цитировались за пределами Аргентины. Испанские ежедневники быстро заметили это новое имя, воссиявшее в Новом Свете, даже ослепляющее неукоснительной строгостью умственного труда. Многие пытались заполучить его; как водится, успеха добился самый мощный орган — мадридская газета, которая время от времени обменивалась статьями с аргентинским еже-

дневником, где публиковался Мертон. Так для него начался год чудес.

Заметки Мертона об испанских авторах — это уже стало его фирменным зна́ком — отличали то же полное беспристрастие, тот же отстраненный анализ, какие уже испытали на себе аргентинские писатели. Поначалу в Испании звучали жалобы и ропот, полные страха и изумления, однако все с возрастающим нетерпением ожидали каждую воскресную заметку, которую перепечатывали основные культурные обозрения Латинской Америки. К концу года свершилась коронация, а от нее рукой подать до катастрофы: испанская газета присудила Мертону премию как лучшему критику в номинации «Открытие года». Он приехал на церемонию награждения, и в следующем воскресном приложении мы увидели первое фото «призрака». Мертон предстал неприлично молодым и загорелым, выделяясь на фоне седовласых испанских светочей. На второй странице поместили другую фотографию, и теперь ее можно назвать пророческой: критик поднимает бокал шампанского, стоя между дородной Нурией Монклус, одетой в белое, с одной из ее легендарных изумрудных диадем в волосах, и великолепной супругой А., Морганой, которая слегка касается его плеча. Мертон чуть склоняется к Моргане, будто она готова что-то шепнуть ему на ухо, и он не хочет этих слов упустить. Зато самого А. не было ни на одном из снимков. Он уже жил в Испании, но не выезжал из Барселоны — к то-